

П. В. Алексеев^{1,2✉}, С. С. Жданов^{1,3}

Репрезентации южного пространства в путевых заметках К. Жукова: Одесса и Крым

¹ Новосибирский государственный технический университет,
г. Новосибирск, Российская Федерация

² Горно-Алтайский государственный университет,
г. Горно-Алтайск, Российская Федерация

³ Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
г. Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: pavel.alekseev.gasu@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу путевых заметок К. Жукова «Заметки в пути на южный берег Крыма» (1865), описывающих путешествие по южным регионам Российской империи в 1864 году – Одессе и Крыму. Исследование сосредоточено на антропологических и пространственных репрезентациях, отражающих восприятие автора многонационального и культурно сложного южного пространства. Особое внимание уделяется описаниям этнического разнообразия, бытовых и поведенческих характеристик населения, а также визуальному и символическому осмыслению городского ландшафта. Одесса предстает в тексте как пестрая и динамичная торгово-культурная среда, в то время как Крым интерпретируется как пространство исторической памяти, природной экзотики и культурной неоднородности. Путевые наблюдения Жукова рассматриваются сквозь призму имагологического подхода и культурной антропологии, позволяя выявить особенности восприятия «Юга» как иного, полифоничного и одновременно включенного в имперское пространство.

Ключевые слова: К. Жуков, травелог, культурная антропология, южное пространство, Крым, Одесса, Российская империя, ориентализм

P. V. Alekseev^{1,2✉}, S. S. Zhdanov^{1,3}

Representations of the Southern Space in K. Zhukov's Travel Notes: Odessa and Crimea

¹ Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation

² Gorno-Altai State University, Gorno-Altai, Russian Federation

³ Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation
e-mail: pavel.alekseev.gasu@gmail.com

Abstract. The paper analyzes K. Zhukov's travelogue "Notes on the Journey to the Southern Coast of Crimea" (1865), which describe a journey through the southern regions of the Russian Empire in 1864 – specifically Odessa and Crimea. The study focuses on anthropological and spatial representations that reflect the author's perception of the multiethnic and culturally complex southern space. Particular attention is paid to depictions of ethnic diversity, everyday life, and behavioral characteristics of the population, as well as to the visual and symbolic interpretations of the urban landscape. In the text, Odessa emerges as a vibrant and dynamic trade and cultural hub, while Crimea is interpreted as a space of historical memory, natural exoticism, and cultural heterogeneity. Zhukov's travel observations are examined through the lens of imagological analysis and cultural anthropology, re-

vealing the specific ways in which the “South” is perceived as both Other and an integral part of the imperial space.

Keywords: K. Zhukov, Travel Writing, Cultural Anthropology, Southern Space, Crimea, Odessa, Russian Empire, Orientalism

Введение

Травелог К. Жукова «Заметки в пути на южный берег Крыма» (Санкт-Петербург: тип. В. Головина, 1865) представляет собой ценный, но в настоящее время практически не изученный источник, относящийся к корпусу русской путевой прозы середины XIX века. Написанный по итогам частного семейного путешествия, совершенного летом 1864 года по маршруту: Санкт-Петербург – Киев – Ржищев – Одесса – Южный берег Крыма, этот текст демонстрирует особенности восприятия южных территорий Российской империи в эпоху Великих реформ. В предисловии к книге Жуков прямо указывает, что его целью было проверить, насколько путешествие по стране может быть «удобным и доступным» [1, с. 2] (здесь и далее орфография и пунктуация оригинального текста приближены к современным – авт.), и, таким образом, предлагает не только субъективные впечатления, но и своеобразную эмпирическую проверку условий внутреннего туризма в рамках быстро модернизирующегося общества.

Особую значимость тексту придает контекст его создания. Путешествие было предпринято спустя 8 лет после окончания Крымской войны, в период активного восстановления полуострова и его интеграции в административное, транспортное и символическое пространство империи. Крым постепенно утрачивает однозначный статус военной твердыни или периферийной колонии и все чаще становится объектом культурного освоения – как зона южной экзотики, курортного потенциала и этнографического интереса [2, с. 152; 3, с. 274]. Именно в этом контексте травелог Жукова демонстрирует особую оптику: автор осознанно отказывается от распространенной в его среде практики выезда за границу и выбирает маршрут внутри России, тем самым противопоставляя свой жест ориентации на внешнее, чужое, модное – внутреннему взгляду на родное, но незнакомое.

Характер наблюдений, зафиксированных в тексте, позволяет говорить о травелоге Жукова как об особой форме прикладной наблюдательности. Это не только бытовое описание маршрута, но и попытка компенсировать отсутствие практических путеводителей, призванных помочь другим путешественникам. Такой подход роднит его с традицией описательной путевой прозы, ориентированной на конкретику, наблюдение и оценку. В этом смысле текст Жукова оказывается в одном ряду с такими произведениями, посвященными южным регионам империи, как «Путешествие по Тавриде в 1820 году» И.М. Муравьева-Апостола (1823) [4], «Поездка в Крым в 1836 году» Н.А. Мурзакевича (1837) [5], «Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу...» Н.С. Всеволожского (1839) [6], «Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 году» Е.М. Шишкиной (1848) [7], «Путешествие в Южную Россию и Крым» А.Н.

Демидова (1853) [8]. Эти тексты различны по авторским установкам, жанровым характеристикам и социальным статусам их авторов, однако объединены интересом к пространству Крыма и южнорусским территориям как зоне, сочетающей черты своего и чужого, обыденного и экзотического, «внутреннего Востока» и культурной периферии. В семиотическом отношении этот текст продолжает традицию русского ориентального травелога, репрезентирующего нарративные стратегии «русского человека на Востоке» [9, с. 46].

Несмотря на постепенно усиливающийся интерес русских и иностранных путешественников к Крыму, его символическое освоение в послевоенный период середины 1860-х годов находилось в том же плачевном состоянии, что и в довоенный. Критик С.С. Дудышкин, отзываясь в «Отечественных записках» о травелоге Е.М. Шишкиной «Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 году» (1848) справедливо охарактеризовал особенности восприятия Крыма петербургским обществом конца 1840-х, которые вполне можно использовать и для характеристики в 1860-е: «Не многим позволяют средства объехать Россию; других удерживает служба, иные боятся скуки и трудностей такого путешествия; некоторые, наконец, совсем не думают об этом, потому что считают такое дело неважным для своего узкого кругозора. Понятно после этого, как важно каждое сколько-нибудь совестливое путешествие по России, когда едущий удосужится посмотреть на людей, мимо которых он проезжает, на почву, по которой он едет, и на города, в которых он останавливается. А еще важнее, если такое путешествие будет описано и предложено любознательной публике» [10, с. 74]. Подобную установку можно наблюдать и у Жукова, чей травелог свободен от избыточной стилизации и предлагает читателю срез частного «совестливого» путешествия.

Таким образом, «Заметки в пути на южный берег Крыма» К. Жукова представляют собой значимый источник, фиксирующий процесс формирования внутреннего, «домашнего» взгляда на южные территории Российской империи в период их активного переосмысления после Крымской войны и на фоне социально-экономических преобразований 1860-х годов. Этот текст позволяет воссоздать конкретные бытовые и транспортные условия путешествия по югу страны, а также особенности культурного воображения, в рамках которого Крым и прилегающие пространства осмысляются как одновременно свои и «инаковые» – как зона «внутреннего Востока», требующая не просто посещения, но символического овладения и включения в национальное представление о России.

Методы и материалы

Методология настоящего исследования основывается на комплексном междисциплинарном подходе, включающем визуально-поэтический, нарративный и ориенталистский анализ, а также принципы литературной географии и социально-культурной герменевтики путешествия. Ключевое внимание уделяется визуальной поэтике – совокупности зрительных репрезентаций южнорусского и крымского пространства, рассматриваемых через призму семиотических практик описания, топоса инаковости, эстетики пейзажа и культурной географии как

способа осмысления имперской периферии. Теоретическую основу данного подхода составляют работы Д.Н. Замятина, А.Ю. Сорочан, О.А. Лавреновой, В.Л. Каганского, Е.В. Дорджиевой, Д. Аткинсона, Р. Пита, С. Дикинсон и др. [11–21].

Особое внимание уделяется проблематике восприятия «внутреннего Востока» как особого явления в структуре имперского воображения, связанного с символическим присвоением крымского пространства в рамках представлений о «своей» экзотике. Исследование опирается на идеи о русском ориентализме и культурном воображении империи, разработанные как в рамках постколониальной критики, так и в отечественной историко-культурной традиции (Л. Вульф, В. Кивельсон, Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе, В.С. Киселев, Т.А. Васильева, В. Проскурина, М. Долбилов, Е. Р. Пономарев, и др.) [22–28].

Нарративный анализ позволяет реконструировать структуру маршрута, выстроенного автором, а также логику движения повествования, в которой пространственные образы Крыма и южнорусских ландшафтов сопряжены с бытовыми, этнографическими и культурными наблюдениями. Повествовательная позиция Жукова рассматривается в контексте жанровых ожиданий и идеологических установок, характерных для русской литературы путешествий середины XIX века, ориентированной на осмысленное освоение южных окраин империи. Исследование учитывает работы по теории травелога как жанра автобиографического, культурно обусловленного и репрезентативного по отношению к пространству. Наконец, важное место в исследовании занимает анализ текстов, посвященных Крыму как особому культурному фронтиру: здесь опираемся на исследования репрезентаций Крыма в русской и европейской литературной традиции, а также на труды, посвященные эволюции восприятия полуострова после Крымской войны 1853–1856 гг. и в контексте реформ 1860-х годов.

Материалом настоящего исследования выступает травелог К. Жукова «Заметки в пути на южный берег Крыма» (1865), представляющий собой ценный источник для изучения репрезентации южных пространств Российской империи в контексте внутренних путешествий второй половины XIX века.

Результаты и обсуждение

Ввиду отсутствия достоверных биографических сведений о К. Жукове, реконструкция его социальной и профессиональной принадлежности может быть осуществлена лишь на основе анализа имеющегося текста. Ни в архивных источниках, ни в библиографических справочниках не обнаруживаются упоминания об авторе, публиковавшем под этим именем иные сочинения или занимавшем значимые должности в административной иерархии. Это позволяет предположить, как минимум, что перед нами не представитель литературной корпорации и не высокопоставленный чиновник, но, вероятнее всего, образованный человек с хорошим достатком, к моменту написания травелога живущий за границей, возможно, в Германии или Франции.

Нарратив Жукова выстраивается как имитация нейтрального, «трезвого» наблюдения, однако при внимательном прочтении обнаруживает ярко выраженную субъектную позицию, укорененную в представлениях жителя столичного

центра о провинциальном и «южном» пространстве. Стиль автора, действительно отличающийся функциональной сдержанностью и акцентом на бытовые детали (состояние дорог, стоимость услуг, социальный состав встреченных в пути людей), тем не менее не избавлен от идеологических импликаций. За кажущейся беспристрастностью скрывается наблюдатель, обладающий выраженным имперским взглядом, склонным к иерархизации этнического, культурного и социального иного. В описаниях представителей южных народов и «иностранцев» – особенно евреев и татар – отчетливо проступает риторика культурного дистанцирования, эстетического и нравственного превосходства, а в ряде случаев – и прямой антисемитизм. Тем не менее именно этот имперский наблюдатель, действующий под маской беспристрастности, наделяет свой текст определенной гражданской миссией: его путешествие служит формой «тестирования» южного пространства на предмет его пригодности для полноценного включения в имперское тело – с точки зрения комфорта, порядка и символического соответствия ожиданиям модернизирующегося общества. Но зачем ему это было нужно, если он совершает частный вояж?

Частное путешествие К. Жукова по южному побережью Крыма, предпринятое вскоре после Крымской войны, может быть интерпретировано как часть более широкой имперской стратегии по утверждению российского культурного и территориального доминирования в регионе. Если аннексия полуострова в 1783 году служила отправной точкой для долговременной политики вытеснения османского влияния с северного Причерноморья и закрепления России на Черном море, то риторика после 1856 года нуждалась в новых символических актах восстановления власти и контроля, хотя к этому времени нетатарское (и немусульманское) население полуострова составляло уже большинство [29, с. 128]. В этом контексте частное путешествие – с его призывами к русским читателям активнее посещать Крым, «узнавать» его и воспринимать как часть национального пространства – приобретает значение продолжения имперского дискурса. Репрезентации европейцев (французов и англичан) в травелоге Жукова, как правило, лишены прежнего ореола культурного превосходства, что можно трактовать как реакцию на травму Крымской войны.

Таким образом, частная поездка превращается в идеологический жест, направленный на внутреннее укрепление российского присутствия в символически уязвленном регионе и на вытеснение иных (османских, татарских, европейских) знаков принадлежности. Автор как бы берет на себя роль «гражданского наблюдателя», испытывающего внутреннее пространство империи на прочность – с точки зрения здравого смысла, повседневных потребностей и перспектив национального развития.

1. Маршрут травелога: пространство, мотивации, инфраструктура.

Одной из ключевых тем травелога Жукова становится сознательный выбор путешествия по Югу Российской империи вместо модной заграничной поездки – жест, имеющий публицистическую природу. Уже в первых абзацах автор выступает с критикой, распространившейся в образованном обществе «болезни путешествий за границу», указывая на «поразительное равнодушие» к внутренним марш-

рутам и подчеркивая, что «очень мало лиц, которые путешествовали по России и могли бы рассказать об ее богатствах и разнообразии» [1, с. 1]. Жуков вписывается в эту критическую линию, противопоставляя суетной миграции петербуржцев на дачи и за границу собственную установку: «решаюсь описать свою поездку на южный берег Крыма с целью разъяснить для многих вопрос об удобстве или неудобстве поездок по России» [1, с. 3]. Его маршрут становится социальной декларацией, где обнаруживается обостренное внимание к инфраструктуре, бытовым деталям и дорожным реалиям малоизвестного пространства, еще не нанесенного на карту столичной повседневности: он иронически замечает, что в книжных магазинах отсутствуют путеводители по южному Крыму, а по пути ему не встретилось ни одного печатного указателя. Это вполне соответствовало реалиям 1850–1880-х годов, когда путешествия в Крым «оставались преимущественной привилегией высших слоев общества и дорогостоящим развлечением» [30, с. 136], а имевшиеся путеводители были дороги и редки. Поэтому его собственный текст и манифестирует восполнение этой лакуны, совмещая черты путеводителя, газетной статьи, дневника и путевого очерка.

Уже в начале пути из Петербурга через Киев, Кременчуг, Екатеринослав, Херсон, Одессу и далее по Крыму, автор многократно фиксирует как положительные, так и отрицательные стороны путешествия. Он с одобрением описывает гладкое шоссе между Петербургом и Киевом, отсутствие проблем с лошадьми: «каре́та катилась по гладкому, прекрасному шоссе, и в лошадях не было недостатка» [1, с. 3]. Однако в тех местах, где инфраструктура отсутствует, он резко критикует административную небрежность: так, пересадка в Кременчуге описана как почти катастрофическая – «едва не утонули в дрянной рыбацкой лодке»; «нельзя не протестовать против такого равнодушия дирекции...» [1, с. 6]. Таким образом, Жуков не только фиксирует маршрут как ландшафт и сеть дорог, но и переосмысляет его как зеркало состояния общества и государства. Путешествие превращается в инструмент диагностики: насколько Россия доступна собственным подданным? какие условия сопутствуют познанию ее регионов?

Значение его маршрута – от плаванья по Днепру и степным переходам до Черноморского побережья и южного Крыма – заключается не только в широте охвата, но и в типе взгляда – это «пристальное странствие»: Жуков подробно описывает технические условия плаванья, грязные каюты, подводные каржи и буйки, но тут же переключается на этнографические наблюдения – молитвенные мантии евреев, чумаков в степи, городские обычаи. Топография местности обширна: Кременчуг, Екатеринослав, Херсон описаны через их архитектуру, гостиницы, свадьбы, рынок и др. На морском этапе маршрута (Херсон – Одесса – Севастополь – Бахчисарай – Южный берег Крыма) повествование приобретает черты эстетического и культурного гида. Одесса предстает как шумный, пыльный, но яркий и космополитичный город искусственного происхождения, в котором просматривается слияние Европы и Востока. Севастополь – как город памяти, руины которого говорят о трагедии Крымской войны. Южный берег Крыма – как «поэтическая точка сборки» путешествия: Байдарские ворота, Алушка, Ялта, Алушта описаны в духе натурфилософского восторга: природа,

аромат растений, утро, купание, покой тела.

Именно в кульминации – в описании Южного берега Крыма – Жуков достигает философского вывода: в России есть уголки, сравнимые по красоте и значению с Европой, но чтобы их открыть, необходимо не только желание, но и соответствующая инфраструктура. Его путь становится жестом всматривания в родное пространство, чья ценность долгое время оставалась недооцененной.

2. Одесса: эстетика многообразия и критика искусственности

Одесса занимает в структуре травелога Жукова особое положение – как пространственная граница между уездной Россией и черноморским югом, «окно» в космополитический, многонациональный, почти иностранный мир. Ее образ вводится задолго до прибытия в сам город: по мере продвижения к югу усиливается культурная плотность, появляется «южный колорит в лицах», упоминаются крымские вина, и разговоры спутников все чаще касаются Крыма и Одессы. Одесса возникает как предчувствие и апогей южного направления путешествия, город, завершающий днепровскую часть маршрута и предвосхищающий крымскую.

С первых строк описания Жуков подчеркивает активность и пестроту городской жизни: кипучая деятельность гавани, гомон разных языков, белые одежды и тюрбаны, лица разных наций – все это создает эффект культурного водоворота, захватывающего путешественника. Одесса предстает как пространство интенсивного обмена – экономического, культурного, телесного. При этом восприятие города многослойно: с одной стороны – эстетическое наслаждение от городской панорамы, музыки, купания в море и южных блюд, с другой – резкая критика инфраструктурных и санитарных условий: пыль, грязь, плохие дороги, завышенные цены, запущенность памятников.

В отличие от Севастополя, где доминирует поэтика руин и памяти, Одесса у Жукова – это живой организм с неустойчивым балансом между европейской утонченностью и восточной неряшливостью. Автор видит ее как «искусственное» создание («Одесса создавалась искусственно» [1, с. 18]), возникшее благодаря воли административной элиты (в первую очередь, князя Воронцова), а не органически развившееся поселение. Он сомневается в стратегическом выборе местности – неудобная бухта, отсутствие воды, пыль с Пересыпи – и предполагает, что без дальнейшей государственной поддержки город не сможет конкурировать с другими черноморскими портами. Отметим также, что мотив неестественности топоса Одессы мы встречаем ранее у Сумарокова в его «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году», но в варианте чудесности, а не искусственности, как у Жукова: [31, с. 223].

Одесса выполняет в структуре жуковского травелога сразу несколько функций. Во-первых, это пространственная и сюжетная развязка днепровской части пути, своеобразный рубеж между материковой Россией и полуостровом. Во-вторых, это культурный контрапункт Крыму: Одесса – это город торговли, купанья, обедов и публичных пространств, тогда как Крым – место религиозного и природного уединения. В-третьих, это критическая площадка для социального анализа: Жуков исследует здесь феномены урбанистической эстетики, экономиче-

ских перекосов и повседневной практики горожан – от купания в море до манеры одеваться.

Таким образом, имагология Одессы у Жукова амбивалентна: с одной стороны, город вызывает восхищение масштабом, климатом, культурной пестротой; с другой – разочарование неустроенностью, искусственностью и зависимостью от внешних факторов. Именно поэтому Одесса занимает важное место в социально-географическом воображении автора – как символ имперского проекта, находящегося между цивилизацией и провинциальным хаосом.

3. Крым как культурный и символический ландшафт

Крымские топосы в травелогe Жукова открываются образами Севастополя. Этот порт в травелогe К. Жукова – не просто географическая остановка, а смысловой и эмоциональный центр всего путешествия, кульминация маршрута, в которой сходятся трагедия и надежда, разрушение и восстановление, тело и память. Автор выстраивает образ города как сложную и многослойную палимпсестную структуру, насыщенную символами и плотной материальной фактурой.

В описании Севастополя величие Юга соседствует с развалинами, таким образом, что «едва ли древний Вавилон располагал к более грустным чувствам» [1, с. 23]. Все вокруг – не просто руины, но руины ориентализованные, омытые «изумрудной водой» и освещенные «чудным солнцем» Востока. Свет здесь не противоположен разрухе, а подчеркивает ее, высвечивает зияния, делает их зримо красивыми и пугающе реальными артефактами лиминального пространства. Севастополь в восприятии Жукова – город мертвых и живых одновременно. Он пишет о «кладбищах», «развалинах», «могилах», но тут же акцентирует ясность неба, свежесть воздуха, игру света и перспективу «новой жизни». Это город-тело: израненное, но еще способное ощущать, обновляться, дышать. Это тело, в котором смерть и жизнь, память и настоящее находятся в постоянной динамической связи. Телесность ощущается в описаниях утреннего воздуха, «ароматного», «веселого», возвращающего человеку силы, и купания в море, которое «ласкает», «плещет», «обнимает».

Особое значение приобретает Малахов курган – сакральный центр города. Жуков с почтением описывает его как убежище, защищающее и укрывающее, «где защитники могли перевести дух и прийти в себя» [1, с. 30]. Даже происхождение названия кургана (от фамилии отставного писаря, исключенного из службы за пьянство [1, с. 31]) становится у него поводом для создания фольклорно-иронического анекдота, который вписывается в общий тон города – смешение высокого и низкого, героического и бытового. Здесь героическая история смешивается с повседневностью, как бы еще раз утверждая: тело истории не только в граните памятников, но и в уцелевших шрамах земли.

Севастополь – это одновременно и руины, и рынок. Пространства, прилегающие к бухте, полны следов французского присутствия – от деревянных барачных до железного «дома маршала Пелисье», от театра до лавок, торгующих трофеями войны. Этот урбанистический ландшафт создает ощущение фронта – между военным и мирным, прошлым и настоящим, историей и коммерцией. Даже бытовая сцена с французом, обманувшим русского покупателя, завершается симво-

лической расправой – насилие и насмешка оказываются частью репрезентации инаковости, в которой подлинный «русский» порядок восстанавливается через силу и моральное превосходство.

Антропологическая карта Севастополя включает греков, евреев, караимов, французов, англичан. Все они упомянуты в бытовом, социальном и визуальном ключе. Особенно показательны образы евреев, фигурирующих в роли подрядчиков при строительстве православной церкви, владельцев купален, торговцев. Именно с ними чаще всего Жуков ассоциирует «грязь», беспорядок, отсутствие духовности. Например, купальни, которые «содержит еврей-караим», описываются как неопрятные, постели не выколачиваются, белье грязное. Эта связь инаковости с беспорядком – типичная черта ориенталистского дискурса, где Восток (а еврей у Жукова – ориентализованный тип) оказывается телесным, нечистым, неподконтрольным. Этот описательный регистр совпадает с репрезентацией татар в европейских и русских травелогах XVIII–XIX веков, где они устойчиво обозначаются как «праздные», «невежественные» и «грязные», а сами татарские поселения – как остатки некогда цветущей земли, приведенной в упадок их «небрежностью» и «неумелостью». Как показывает Беатрис Тесье, подобный образ татар служил важным элементом российского «нарратива спасения» Крыма: их присутствие обосновывало необходимость колониального вмешательства и «очищения» пространства [32, с. 242]. Семиотика «грязи» функционирует как визуальный и моральный антагонист райской природы и ее поэтического потенциала – именно поэтому у Жукова эстетика «местности» исчезает при столкновении с телесной реальностью «Другого».

Бытовой антисемитизм Жукова – это не просто черта личного мировоззрения, а симптом широкой культурной оптики XIX века, в рамках которой осуществляется процесс оценки, установления иерархий: между центром и окраиной, русским и не-русским, чистым и грязным, героическим и «торгашеским». В этом смысле парадоксально, но показательно, что одна из самых пронзительных сцен – рассказ о девушке, спасенной английским офицером, – вписана в топос Севастополя. Это момент, когда национальная перспектива уступает место человеческой. И все же даже здесь чувствуется «высокая» постановка сцены: монах, надписи на доме, музыка, тишина – все оформлено как эмоциональная пантомима, и зритель должен испытать благоговение, как в театре.

Наконец, особую смысловую вертикаль образу Севастополя придает монастырский топос. Георгиевский и Херсонский монастыри становятся точками соприкосновения сакрального и физического. Особенно Георгиевский, с его видом на море, с его чувственностью («ароматный воздух», «пение птиц»), слиянием телесного и духовного, – это своего рода финал симфонии, в которой тело, пространство и душа обретают равновесие. Здесь паломничество становится одновременно и физическим подъемом, и метафизическим движением.

Таким образом, Севастополь в травелоге Жукова – это русская версия «Карфагена» [1, с. 29], где тело истории – осязаемо, зримое, покрытое шрамами, но еще дышащее. Это пространство руин и утопии, колониального взгляда и личного потрясения, в котором наблюдатель становится свидетелем, а путешествие

– актом телесной и гражданской трансформации. От Севастополя маршрут Жукова уходит далее – на южный берег Крыма, к красотам Байдар, Алупки и Ялты, но именно здесь, в городе-руине, концентрируются смысловые, визуальные и этические коды всего травелога.

Если Севастополь в нарративе К. Жукова предстает пространством трагической памяти, телесной уязвимости и исторического самоопределения, то Южный берег Крыма функционирует как арена эстетического наслаждения, культурной контемплации и экзотического «отдыха» от имперской повседневности. Этот фрагмент травелога формирует особую оптику юга как внутреннего «рая» Российской империи – пространство телесной свободы, визуального насыщения и этнографического многообразия, но одновременно – поле деологической репрезентации.

Въезд в Байдарскую долину маркируется как символический переход от привычного к чудесному: «как все дивно здесь, как мало похоже на окрестности Петербургской ямы <...> здесь, ближе к раю <...> так пусто» [1, с. 42]. Этот экзистенциальный сдвиг подается через бинарную оппозицию центра и периферии, севера и юга, урбанистического и природного. Жуков видит в Байдарских воротах не только географическую метку, но и своего рода ворота инициации, пропускающие наблюдателя в иное – почти метафизическое – пространство: «Пред вами бесконечное тихое море, около вас громадные скалы, и над ними парящие орлы» [1, с. 43]. Таким образом, Южный берег предстает как место видения – *locus visionis*, где визуальное приобретает почти мистическое измерение. Автор фиксирует себя как «северного» наблюдателя, для которого юг – это не только эстетическое удовольствие, но и культурный шок, вызванный вторжением инаковости.

Структура перемещений вдоль побережья напоминает квазипаломнический маршрут, в котором остановки становятся «станциями» особого чувственного и культурного опыта. Балаклава, древний Символон, предстает у Жукова как «морская гостиная» – топос соединения природной величественности, военной памяти и руинной поэтики. Укрепления Генуэзцев, бараки Крымской войны, греки-проводники – все эти элементы сливаются в палимпсест, в котором сочетаются остатки колониальной архитектуры и посттравматическая меланхолия. Особое внимание уделено фигурам греков – как бывших солдат, ныне обедневших, так и миссионера отца Паксимади, чья фигура вписывается в риторику цивилизаторской миссии и указывает на реликтовое присутствие Восточной христианской традиции в этом поликонфессиональном пространстве.

Однако уже в Байдарах Жуков интонирует откровенно иерархичный взгляд. Татарская деревня представляется как зримое доказательство культурной деградации: «столь грязная по своей обстановке, что всякая поэзия местности <...> исчезала при виде грязных и даже частью полунагих татар» [1, с. 41]. В этом фрагменте проявляется структура ориенталистского взгляда: татарин – визуально репрезентируемый как телесно неупорядоченный, эстетически дисгармоничный и культурно «недоразвитый». Женщины описываются через эмблему «закрытых чадрой глаз», что создает узнаваемый троп ориенталистской визуаль-

ности: сокрытое тело и «блестящие глаза» как фетишизируемая точка эротической проекции.

Алупка становится центральным узлом южного пространства, своеобразным *locus amoenus* – идеализированным пространством гармонии между человеком и природой. Описание дворца Воронцова как «образца Мавританского зодчества» [1, с. 48] и синтеза Востока и Запада маркирует высокую степень осознанной эстетической репрезентации. Природа и архитектура здесь не противостоят, а взаимно усиливают символическую значимость места. Однако и в этом рафинированном пространстве наблюдатель не отказывается от культурной и социальной критики. Гостиница, управляемая «французом, оставшимся от хвоста армии», превращается в место бытового фарса, культурного скепсиса и этнических стереотипов. Реплика о «жидовском расчете» [1, с. 44], казалось бы, мотивирована экономическим раздражением, но на деле демонстрирует глубоко укорененную этническую ангажированность автора. Жуков сливает бытовую неустроенность, нечистоплотность и ксенофобские архетипы в единый образ этнического инородца как антигражданского элемента.

Особенно ярко это проявляется в сценах из Ялты и Алупки, где персонажи с французскими, еврейскими и татарскими атрибутами обретают черты карикатурной дегуманизации: «грязный лакей», француженка-бестолочь, еврейка, кричащая как сумасшедшая. За гротескной комичностью этих образов проступает идеологический импульс – установить иерархию культурной нормы, в которой русская интеллигентность и эстетизм противостоят чужеродной экономической хватке и бытовой распущенности. Образ «торгаша без капитала», «откупщика» и «виноторговца» становится частью этнической типологии тревелого, встроенной в визуально-антропологическую картину Южного берега.

Южный Крым у Жукова – это и сцена светской жизни, и площадка этнографического театра. В Ялте смешиваются купцы, французы, татары, военные и «невесты с тюрбанами» – последние становятся объектом легкой иронии за моду на кисейные украшения, имитирующие восточный стиль. Даже на базаре и в купальнях Жуков сохраняет вкус к экзотике: женские тела описываются фрагментарно, но с явной эротической интонацией. Татарки «приятны спереди, но не красивы сзади», «шлепают туфлями», «красивы, но красят зубы» [1, с. 52]. Женская телесность, всегда ускользающая, становится центром наблюдения – как бы случайного, но явно сексуализированного. В то же время мужские тела (татарские мальчишки, цыгане, купальщики) описываются как «почти голые», «потные», «кривоногие» – и это уже не эротика, а телесное отвращение, контрастирующее с «возвышенным» пейзажем.

Дальнейший маршрут – от Ливадии и Ореанды (у Жукова неправильно – «Ариянды») до Алушты – продолжает формировать топографию южного рая, в котором «каждая дача окружена особенной растительностью», а виноградники и камелии служат эстетическим и экономическим символом пространства. Никитский сад, табачные плантации Массандры, «грецкие орехи», кормящие целые семьи, – все это вписывается в мифологему юга как земли изобилия и телесного комфорта. Однако по мере приближения к Симферополю усиливается социаль-

ный контраст. Алушта представлена как «татарская деревня» с еврейской гостиницей, где героя встречает «красивая еврейская девушка, кричащая, как сумасшедшая» [1, с. 65]. Культурный пейзаж снова опрокидывается в бытовую клоунату, в которой граница между документальным и фантастическим стирается – но всегда в пользу дистанцированного и превосходящего взгляда наблюдателя.

Особое место в структуре южного маршрута К. Жукова занимает посещение Бахчисарая и Чуфут-Кале – пространств, насыщенных культурной памятью и исторической символикой. Бахчисарай предстает как узловой пункт восточного воображаемого, где «восточное» и «древнее» становятся синонимами, поддающимися как эстетической, так и идеологической обработке. Город, некогда столица Крымского ханства, подается Жуковым как «застывшее прошлое», в котором архитектура, запахи, одежда и бытовая сцена конденсируют собой представление о Востоке как о пространстве архаики, неподвижности и этнической стагнации. Его внимание сосредоточено на гаремной эстетике, гробницах, татарских женщинах и детях, которые кажутся автору лишенными признаков прогрессивной культуры.

Чуфут-Кале, в свою очередь, маркируется как тоpos сакральной инаковости и этнической изоляции. Пространство караимского поселения оказывается в травелоге пространством почти метафизической отгороженности, где ландшафт, архитектура и ритуал создают ощущение «другого мира», выведенного за пределы привычной русской или даже крымской реальности. Жуков с интересом фиксирует особенности караимского культа, одежды, быта, но он наблюдает за ними так, как наблюдают за исчезающим видом – с вежливым удивлением и скрытым превосходством. Караимы, по его наблюдению, живут в «молчаливом городе», где каждый жест пронизан строгим ритуалом, но одновременно лишен перспективы развития. Таким образом, описания Бахчисарая и Чуфут-Кале становятся не только этнографическими зарисовками, но и риторическими жестами, фиксирующими границы между имперским субъектом и локализованной инаковостью.

Таким образом, Южный берег Крыма в травелоге Жукова – не просто описанный ландшафт, но целостная система визуальной и культурной организации. Это пространство, где природа, этничность и повседневность структурированы в иерархическую модель наблюдения, сочетающую элементы эстетической рефлексии и имперской власти. Жуков не стремится к этнографической объективности: напротив, он демонстрирует амбивалентность чувств – между восхищением и брезгливостью, романтизацией и ироническим отчуждением. Его ориентализм не статичен: он одновременно визуален, телесен и идеологичен. Южный берег становится местом, где наблюдатель, действующий от имени культуры центра, обнаруживает собственную чувствительность, свои страхи и желания – и где каждая этническая фигура оказывается отражением не только имперской топики, но и внутренних напряжений самого автора.

Заключение

Путевые заметки К. Жукова представляют собой ценнейший источник для изучения культурных, этнографических и визуальных репрезентаций южного

пространства Российской империи в середине XIX века. В отличие от канонических описаний, сосредоточенных на внешнем Востоке, текст Жукова выявляет внутренний ориентализм, направленный на собственные периферии – Крым, Юг, многонациональные и культурно неоднородные территории. В структуре его нарратива Одесса, Севастополь, Южный берег Крыма, Бахчисарай и Чуфут-Кале становятся не только географическими пунктами маршрута, но и символическими пространствами, в которых фиксируются напряжения между центром и окраиной, знанием и экзотикой, эстетическим наслаждением и культурной тревогой.

Жуков предстает наблюдателем, действующим в поле идеологически насыщенного взгляда, но при этом способным к эстетической рефлексии и культурной чувствительности. Его текст выстраивается как поэтика внутреннего странствия – движения сквозь знакомое и иное, привычное и чудесное. Через фиксацию визуальных, телесных и этнографических сцен он создает картину имперского Юга, в которой сочетаются элементы путеводителя, дневника и культурного эссе. Южный Крым в этом контексте – не только *locus amoenus*, но и *locus ideologicus*: место, где визуальное наслаждение сопровождается неявным утверждением иерархий, а наблюдение превращается в акт культурной интерпретации.

Таким образом, травелог Жукова позволяет не только реконструировать восприятие Крыма и южнорусских территорий в пореформенную эпоху середины 1860-х годов, но и понять механизмы формирования внутреннего имперского взгляда – взгляда, ориентированного на включение инаковости в культурную матрицу центра через визуальное, этнографическое и риторическое овладение пространством в синкретическом жанре полудневника-полупутеводителя.

Благодарности

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-01431 «Репрезентация пространства Украины в русской культуре конца XVIII – XIX веков (на материале отечественных травелогов): дискурсы, нарративы, топосы», <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Жуков К. Заметки в пути на Южный берег Крыма. – СПб.: Печ. В. Головина, 1865. – 83 с.
2. Первых Д. К. Крым в записках путешественников периода Крымской войны (по материалам журнала «Современник» 1853–1856 гг.) // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 238. – С. 152–155.
3. Панухин П. В. Роль архитектурного наследия в позиционировании пространства Крыма после Восточной войны // Architecture and Modern Information Technologies. – 2023. – № 1 (62). – С. 262–276. – DOI: 10.24412/1998-4839-2023-1-262-276
4. Муравьев-Апостол И. М. Путешествие по Тавриде в 1820 году. – СПб.: Печ. в тип. состоящей при особенной канцелярии Министерства внутренних дел, 1823. – 337 с.
5. Мурзакевич Н. Поездка в Крым в 1836 году // Журнал Министерства народного просвещения. – 1837. – № 3, отд. 4. – С. 625–691.
6. Всеволожский Н. С. Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константино-

- поль, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Африку и Париж в 1836 и 1837 годах. [В 2 т.]. – М.: Тип. Августа Семе́на, 1839.
7. Шишкина О. П. Заметки и воспоминания русской путешественницы по России, в 1845 году. [В 2 т.]. – СПб.: Тип. 2-го отделения Собств. Е. И. В. канцелярии, 1848.
8. Демидов А. Н. Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию. – М.: Тип. А. Семе́на, 1853. – 543 с.
9. Алексеев П. В. Русский ориентальный травелог как жанр путевой прозы конца XVIII – первой трети XIX века. Филология и человек. – 2014. – № 2. – С. 34–46.
10. [Дудышкин С. С.] Заметки и воспоминания русской путешественницы по России в 1845 году // Отечественные записки. – № 6. – Т. LVIII. – С. 73–76.
11. Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. – М.: Знак, 2006. – 488 с.
12. Сорочан А. Ю. Литература путешествий как литера тура: Монография. – Тверь: ООО «Альфа-Пресс», 2024. – 256 с.
13. Лавренова О. А. Пространства и смыслы: семантика культурного ландшафта. – М.: Ин-т Наследия, 2010. – 327 с.
14. Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: сборник статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 576 с.
15. Дорджиева Е. В. Образ города в репрезентациях путешественников: на примере восприятия Екатеринослава XIX – начала XX века // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 3. – С. 316–322.
16. Жданов С. С. Пространственные образы лиминального Юго-Запада Российской империи (на материале «Путевых записок по России» М. П. Жданова) // Два века русской классики. – 2024. – Т. 6, № 3. – С. 30–63. – DOI: 10.22455/2686-7494-2024-6-3-30-63.
17. Жданов С. С. Образы крымских городов в травелоге Н.С. Всеволожского // Образы Новороссии в русской культуре: между прошлым и будущим: материалы I Всероссийской научно-практической конференции. – Симферополь: Изд. дом КФУ, 2025. – С. 16–21. – EDN: IDMQZI.
18. Алексеев П. В., Жданов С. С., Шарыпова В. С. «Полуденная Россия» в ориентальном травелоге Н.С. Всеволожского // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XX Международный научный конгресс, 15–17 мая 2024 г., Новосибирск: сборник материалов в 8 т. Т. 5: Международная конференция «Электронное геопространство: философско-гуманитарное и социально-правовое измерение». – Новосибирск: СГУГиТ, 2024. – С. 82–92. – DOI: 10.33764/2618-981X-2024-5-82-92.
19. Atkinson D. Cultural geography. – London: I.B. Tauris, 2005. – 222 p.
20. Peet R. Modern Geographical Thought. – Blackwell, Oxford, 1998. – 342 p.
21. Dickinson S. Breaking Ground. Travel and National Culture in Russia from Peter I to the Era of Pushkin. – Amsterdam; New York: Rodopi, 2006. – 291 p.
22. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. – 567 с.
23. Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 357 с.
24. Схиммельпенник ван дер Ойе Д. Навстречу восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией. – М.: Новое лит. обозрение, 2009. – 419 с.
25. Киселев В. С., Васильева Т. А. «Под отечественным небом странствую с мирною душою»: образ Украины в русских травелогах начала XIX в. (В. В. Измайлов, П. И. Шаликов, А. И. Левшин) // Имагология и компаративистика. – 2015. – № 2 (4). – С. 20–42.
26. Проскурина В. Мифы империи: Литература и власть в эпоху Екатерины II. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 322 с.
27. Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 1000 с.
28. Пономарев Е. Р. Русский имперский травелог // Новое литературное обозрение. – 2017. – № 2(144). – С. 33–44.

29. Lazzerini E. The Crimea under Russian Rule. 1783 to the Great Reforms // Russian Colonial Expansion to 1917. – London–New York: Mansell Publ., 1988. – Pp. 123–138.
30. Молочко Е. В. Путеводители второй половины XIX - начала XX века как форма популяризации памятников истории и культуры Крыма // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Исторические науки. – 2010. – №1. – С. 133–139.
31. Жданов С. С. Репрезентация пространства Новороссии в «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П. И. Сумарокова // Научный диалог. – 2024. – Т. 13. – № 5. – С. 215–239. – DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-5-215-239.
32. Teissier B. Crimean Tatars in Explorative and Travel Writing: 1782–1802 // Anatolian Studies. – 2017. – Vol. 67. – Pp. 231–53.

© П. В. Алексеев, С. С. Жданов, 2025